

Владимир ПЕРЦЕВ

РАССКАЗЫ ПРО ВОФКУ

Утопленник

Солнце клонилось уже к западу и начинало лучиться сквозь пыльные липы. Мы с Колькой скручивали из газет кули, наполняли их теплой пылью с дороги и подбрасывали вверх — кого Бог покарает! Мои глаза были полны пыли, на зубах скрипело. Пыль была и под рубашкой, и даже в трусах. Колька, так тот прямо поседел, его темные волосы стали пепельными. Вдруг где то в отдалении лягнуло что-то металлическое, и хриплый бас пропел: бу-бу-бу. Мы насторожились. Звук повторился, потом еще и все ближе. Окна в домах были открыты, и народ стал высыпать на улицу. Мимо нашей тупиковой улочки, одним концом упирающейся в речку Поганку, дружим в проезжую дорогу, ведущую куда-то далеко за город, где я ни разу и не бывал до сих пор, навстречу странным звукам потекли люди с соседних улиц. Мы с Колькой оставили поднадоевшее к тому времени испытание судьбы и тоже побежали к проезжей дороге. Странные звуки раздавались уже совсем рядом. И вот, вывернув из-за поворота, на нас и мимо нас пошли дядьки в черных пиджаках, несмотря на жару и духоту, с яростно лучащимися на солнце инструментами. Ба-ба-ба — крепко пели латунные трубы. Бымс-с — грохали и рассыпались тарелки. За ними шел одинокий человек с длинной крышкой от ящика на голове. Крышка была обита голубой материей с черной каймой. За ним на некотором отдалении, запрудив узкую улицу, приперев к дощатым сплошным заборах прохожих, неспешно перла праздничная толпа.

— Это что еще? — вскричал я в ужасе.

— Так это же покойника несут, — просипел придавленный Колька, пытаясь выбраться из-под навалившихся пиджаков и юбок. Кольке шел седьмой год, и он много чего повидал за свою жизнь.

— Какого еще покойника? — не понял я. Мне было только четыре с половиной, и я еще не знал, что бывают покойники.

— Мертвого, какого. Ты что, покойника никогда не видел?

— Не видел я никакого покойника, а где он?

Колька повертел головой, но мало что увидел.

— Тут где-то, его в гробу несут.

— А куда его несут?

— Так на кладбище, закапывать.

— Зачем это?

— Не знаю зачем, — признался Колька, — покойников всегда зачем-то закапывают.

— А затем и закапывают, — встряла в разговор бабка Лиза с соседней улицы, — чтобы он там упокоился с миром, а не шастал среди живых по ночам. Вот ты помрешь, и тебя снесут на кладбище и закопают.

Владимир Перцев родился в 1963 году в городе Гаврилов-Ям Ярославской области. Окончил Ярославское художественное училище. Живет в Ярославле, преподает в Ярославском педагогическом колледже. Член Союза российских писателей. Автор пяти книг. Публиковался в журналах: «Литературная учеба», «Юность», «Континент», «День и ночь», «Балтика», «Казань», «Мера» и др.

Такая перспектива меня не устраивала.

— Дура! — сказал я бабке Лизе зло. — Тебя саму закопают еще раньше.

— Ну и меня закопают, — согласилась бабка Лиза. — А вот ругаться при покойнике — грех, услышит и заберет с собой.

Я представил себя закопанным вместе с покойником и прикусил язык.

— Он, что ли, не совсем умер? — спросил тихонько у Кольки.

— Хрен его знает, — пожал Колька плечами, — с виду смиренный, а сцопает, и тью-тью.

Лучше близко не подходи.

Но любопытство взяло вверх. Очень уж хотелось увидеть, что за покойник такой. И я полез в гущу. Там, в этой гуще плыла голубая лодочка гроба, которую несли на полотенцах четыре здоровенных дядьки с красными шеями. В лодочке на небольшой подушечке лежала голова мальчика моих лет. Лицо его было широким и синим, как бы в синяках.

— Утопленник, — сообщил Колька, протискивающийся следом.

— Как это? — не понял я.

— Утонул в фабричном пруду. Карасей ловил на сваях, упал в воду и захлебнулся.

Его два дня «кошками» искали, пока сам не всплыл. Мне мамка рассказывала, ну, не мне, а тетке Симе, а я слышал.

Меня притерло близко к гробу. Я глянул в лицо утопленнику и побледнел. От лица веяло холодом, зеленой глубиной, тиной. Мне сделалось страшно. Я почувствовал, что задыхаюсь. Вода хлынула в легкие, и сумрачная глубина потащила меня. Я судорожно замахал руками.

— Куда прешь, дура?! — заревел на меня какой-то парень и отпихнул в сторону.

Но толпа повлекла меня за собой, и я в ужасе и каком-то параличе, как приговоренный, шел за гробом. И так бы, наверно, и шел до самого кладбища, если бы Томка вовремя не выловила меня и не привела в чувство.

— Вофка, ты куда намылился?

— Меня покойник забрал! — не своим голосом заревел я.

— Я вот расскажу деду, он тебе уши-то оборвет, как на кладбище ходить.

— Я ругался, он меня и зацапал, — ревел я.

— Ври больше. На что ты ему сдался?!

Взяв меня покрепче за шиворот, Томка повлекла меня к дому. В ее обязанности входило присматривать за мной. У нее, конечно, были и свои взрослые дела старшеклассницы, но и меня она из поля зрения не выпускала.

— А я до кладбища ходил, — похвастал Колька на следующий день.

— И что там?

— Здорово. Памятники разные, венки.

— А куда утопленника дели?

— Так в яму закопали. Навалили сверху целую гору земли и лопатами прихлопали, чтобы не вылез.

— А он что?

— Ничего. Его крышкой накрыли, заколотили и в яму.

— А эти, с трубами?

— Поиграли и ушли. Им денег дали и вина. Они и побежали такие радостные.

— А как ты обратно дошел?

— Так с бабкой Лизой и дошел. Я бы и один дошел, не впервой. Я эту дорогу знаю, не то что до кладбища, а до самой свалки.

— Какой свалки?

— Свалки. Ты что, на свалке не был?!

- Не знаю я, что за свалка такая.
- Ну, ты дурак! На свалке не был!
- А ты был?
- Сколько раз! Еще в прошлом году был. Мы туда с дядей Лешей за паклей ездили.
- И что там?
- Всякого много. Кучи всего! За целый день не обойдешь.
- Вот бы мне в такое место попасть!
- Мал еще. Далеко. Заблудишься.
- Сам ты мал. Мне уже скоро пять годов будет. И папа купит мне мотоцикл.
- Ха-ха, врун!
- Ни фиги! Он себе купит и будет меня везде катать. Вот увидишь. Мы с ним на рыбалку поедem и в лес за грибами. И по улице будем ездить. А тебя задавим на фиг!

«Шмайсер»

С утра бабка, как всегда, сидела у окна и варила варенье, помешивая длинной деревянной ложкой в тазу, время от времени подавая команды домашним:

— Томка, слазай на насест, пощупай в гнездах, не нанесли ли куры яиц. Да зелени нарви потом на окрошку.

И Томка, ученица девятого класса и моя тетя, зашаркав стоптанными тапками, летела во двор, мимоходом заглядывая в большое зеркало в темной раме, висевшее в прихожей.

— Герка? Где тебя леший носит? Вынеси ведро с помоями, со вчера киснут. Да ополосни его из бочки, а то ведь так и припрешь вонючее.

И Герка, мой дядя, недавно пришедший из армии, с ершиком темных волос и синим якорем на левой волосатой руке, низкорослый, немного кривоногий, но крепкий, подхватывал ведро и, придержав плечом тяжелую дверь, вываливался из дома.

Я вставал рано и к этому времени успел уже побывать на речке, полюбоваться своим отражением в ее спокойных мутноватых водах, строя сам себе рожи. Успел поймать на хлеб двух пятнистых гольцов с усиками, как у сомиков, и скормить их ненасытной кошке Муське, которая подошла терануться раз-другой о мою коленку. Она с жадностью и проворством сцапала рыбин и, страшно хрустя, моментально сожрала их. После этого я успел еще поиграть в «Отрезалы» с Колькой и Санькой, тоже встающих ни свет ни заря. И теперь стоял под кухонным окном дедова дома, намереваясь незамеченным проскользнуть мимо бабки в сад за зелеными яблоками.

— Отец, — сказала меж тем бабка деду, — ты бы смастерил Вовфе какое ружье, а то давеча я гляжу, он со скалкой носится, как оглашенный. Заедет кому в лобазину.

— Хм-м, — отозвался на это дед, поправил офицерскую фуражку без кокарды, с которой не расставался с тех пор, как пришел с фронта, и вышел.

Когда он вышел, я пробрался на кухню.

— Ба-ашка, а что ли, дед может ружье сделать?

— Услышал уже? — удивилась бабка. — Да он хош чего сделает, на все руки от скуки. Только упрям как баран, не свернешь, коли не захочет.

Но я был той же породы. Весь день ходил за дедом, куда он — туда и я, и канючил:

— Ну, дед, ну что тебе стоит?! У Кольки есть винтовка, у Сани — пистолет, у Димки — ножик охотничий настоящий, только сломанный. Один я ношусь со скалкой весь день как оглашенный.

Дед ходил всюду по своим делам и, казалось, не замечал меня вовсе. За обедом я сел с ним рядом и стал ему во всем подражать. Дед не ел хлеб вприкуску, он крошил его

в тарелку, прямо в щи, топил и так хлебал, смачно причмокивая. Я тоже накрошил себе булки, но немного перестарался, хлеб разбух и полез через край.

— Вофка, не свинячь, по лбу ложкой получишь! — пообещала бабка.

Дед делал вид, что эти дела его не касаются. Он доел щи, вымокал остатки куском булки и кинул в рот. Крякнул и полез из-за стола. Я кое-как выхлебал свое разбухшее месиво и побежал за дедом.

— Куда полетел, чертенок? Чай еще! — крикнула бабка вдогонку, но я уже преодолел тяжелую скрипучую дверь, с которой всегда приходилось вступать в ожесточенную борьбу и брать вход и выход силой, и вылетел следом за дедом в сумерки сеней и дальше во двор. Так бы я, конечно, ни за что не ушел, зная, что к чаю подадут ватрушки. Ватрушки я страшно любил. Бабка пекла их в русской печи на поду, размером чуть ли не с велосипедное колесо, толстые, поджаристые, вымазанные зарумянившейся сметаной. Но от деда я решил не отставать, ружье мне нужно было до зарезу. И я ходил за ним и ныл. Наконец деду мое нытье надоело.

— Ладно, — сказал он, прокашлявшись, — я сделаю тебе ружье, но ты больше не будешь из сада яблоки зеленые воровать и матом ругаться.

Условие было невыполнимое, но я легко согласился.

— Конечно, — сказал я, — да если бы у меня было ружье, так зачем бы мне ругаться?! И яблочек мне совсем не надо, я ими и так объелся.

Я терся около деда, пока он, стоя за верстаком, производил на свет множество длинных стружек, выходящих целыми путанными бородами из-под его рубанка. Дед выстругал несколько заготовок, а потом сколотил не ружье, а автомат. Автомат получился совершенно как настоящий. Ствол дед высверлил так, что я мог всунуть в него мизинец. Затем он приделал сбоку оконный шпингалет, чтобы можно было звонко щелкать, имитируя передергивание затвора, и выкрасил автомат черной эмалью. Я плясал от нетерпения получить эту штуку в свои руки, но дед решил сначала испытать ее сам. Припадая на раненую ногу, он ввалился в дом, где в это время сидели и распивали чай две пожилые родственницы, и, передернув «затвор», скомандовал:

— На пол, быстро! А то застрелю, рука не дрогнет!

Старухи охнули и забились за печь.

— Что ты, что ты, Натолый! Бог с тобой, мы старухи безобидные, за что ты нас?

— Знаю я вас, безобидных! — ехидно усмехнулся дед, нехотя отводя от перепуганных родственниц деревянный ствол. — Ладно, живите покуда.

— Смотрите, смотрите, у Вофки немецкий автомат! — закричал Сашка, когда я появился на улице с оружием. Сашку к этому времени совершенно вырезали из круга, он сидел на заборе и подавал советы Димке, обрезанному со всех сторон так, что можно было уже стоять только на одной ноге, поддерживая загнутую другую.

Я хотел было возразить, что автомат никакой, не немецкий, а самый русский, но Колька меня опередил.

— «Шмайсер», — авторитетно заявил он, тридцать шесть патронов в обойме, при стрельбе немного задирает вверх. Где взял?

Колька неторопливо подошел и осмотрел автомат.

— Дед с войны привез, — не сморгнув глазом, соврал я.

Сашка свалился с забора и тоже подошел ко мне. Только Димка продолжал заниматься эквилибристикой, пытаясь прирезать себе хоть сколько от Колькиного огромного пирога.

— Он, что ли, фашист? — не поверил Колька.

— А хоть кого спроси, любой скажет, что фашист.

— Ну да?! — поразился Колька. — Как же его наши не расстреляли?

— Как-как, дед же потом за наших стал, когда война кончилась.

— Значит, этот автомат настоящий? Стреляет?

— Конечно! Жалко, патронов нет.

Когда Сашка, потеряв тапку, вывалился из круга, мы стали играть в войну. Я был фашистом и играл за немцев. Мы вместе с Колькой фашиствовали, я был просто фашист, а он эсэсовец. Кольке очень нравилось пленных пытаться. Чаще других в плен попадалась Катька. Он привязывал ее веревкой к столбу и пытал — засовывал за шиворот холодного и скользкого лягушонка. Я затыкал уши и открывал рот, чтобы избежать контузии.

Время от времени автомат переходил в другие руки, и я ревностно следил, чтобы новый владелец не слишком резко шелкал «затвором» и не бросал оружие где попало.

— Не дрефь, — обычно говорил Колька, именно ему чаще всего доставалось играть с автоматом, как самому старшему и авторитетному, — повар дело знает!

Через некоторое время автомат пропал. Как сквозь землю провалился. Где только мы его не искали — бесполезно. Я сто раз обошел все места наших игр, заглянул и под крыльцо, и за поленницу, даже на чердак, хотя на чердак заглядывать строго запрещалось, да мы и сами туда не стремились. На чердаке было сумеречно и тихо, в дальнем углу лежал деревянный гроб без крышки. В нем в конце лета сушили лук. Автомата нигде не было.

— Это Альберт скоммуниздил с братцем своим, — говорила Томка. — У них вся семейка такая, вор на воре. Уж я-то знаю.

— Какой еще Альберт? — удивлялся я столь странному имени. — Не знаю я никакого Альберта.

— Альберт Криулин с Тургенева улицы. Они тут часто ошиваются, к бабке ходят, к бабке Криулиной.

— Не знаю я никакой бабки Криулиной, — в отчаянии завывал я, — зарежу, на хрен, и пусть меня посадят!

— Ну и дурак! — успокаивала меня Томка. — Надо деду сказать, он их так отметелит, что мать родная не узнает. Вернут как миленькие.

— Да, полно, — встревала в разговор бабка, — не сам ли он и прибрал?!

— Кто? — в один голос поразились мы.

— Дед, кто еще.

Это нам казалось совершенно невозможным. Но бабка гнула свое и нет-нет да и выговаривала деду:

— У, хромой черт! Не наигрался? Пошто у ребенка игрушку отнял?

Но дед на это только хмыкал. Я думаю, он знал, где «шмайсер», но не говорил, в воспитательных целях, ведь я не сдержал слово и продолжал и яблоки зеленые таскать из сада, и матом ругаться.

Женская баня

Ходить в городскую баню я страсть как люблю. Баня огромная, располагается в старом здании дореволюционной постройки. Дед говорит, что стены у нее толщиной в метр и такие прочные, что пушка не пробьет. Вот бы пальнуть!

Я хожу с отцом и матерью. Мы вместе стоим в очереди в кассу, а потом на лестнице расходимся, встаем в разные очереди, отец направо в мужское отделение, а мама налево в женское. Я обычно иду с отцом. Но когда отец в командировке, как сегодня, то с мамой.

Мы приходим часа в четыре занимать очередь в кассу и стоим до шестого часа. Очередь, запрудив тесное пространство перед кассой, выпирает на улицу и кольцами

укладывается во дворе перед баней. Она вяло пошевеливается, как удав после сытного обеда.

Стоять в очереди весело. Кого тут только нет, кажется, весь город, поодиночке и семьями: мужчины с сетками, из которых торчит сухой березовый веник, бурый и пружинистый; женщины с тазами, детскими ваннами; хныкающая мелкота. Я нахожу себе компанию, и мы носимся как угорелые, играем в прятки и в догонялки. Тявкающие собачонки, увязавшиеся за нами, вертятся у всех под ногами, взвизгивают, когда им наступают на лапы, обнюхиваются с другими собачонками, а порой свиваются в свирепо рычащие клубки под свист и улюлюканье толпы.

После долгого топтания в тесной очереди мы наконец оказываемся у кассы, где за узким вертикальным окошком толстая тетя с овальным потным лицом размеренно и непрерывно выбивает ленты чеков на своем кассовом аппарате, отсчитывает деньги и выкидывает сдачу на тарелку. Сую ей пятнадцать копеек за маму, сам я хожу бесплатно, потому что мне еще нет семи лет. То есть мне восемь, но меня выдают за шестилетнего, чтобы деньгами не разбрасываться. Она ловко забирает монету и выбивает чек, отрывает и кидает на тарелку. Я хватаю чек, и толпа выпирает меня из очереди. Но мы тут же становимся в очередь на лестницу, два пролета которой ведут наверх, к помывочным отделениям. Справа стоят мужчины, слева женщины. Наверху, как царь на троне, сидит маленький седенький старичок в синем халате. Когда из какого-нибудь отделения выходит помывшийся, он пропускает одного человека из очереди, ловко накальвая на длинную спицу чек. Перед ним на тумбочке стоят на деревянных подставках две такие спицы с нанизанными чеками.

Отстояв и эту очередь, оказываемся в раздевалке. Это просторный зал с высоченными потолками, побеленными, но какими-то облезлыми, в разводах. По стенам потеки. Ряды деревянных шкафов с веревочными завязками. Гомон, гул голосов и вентиляторов. Обилие голых и полуодетых тел. Возле большого запотевшего зеркала в огромной кадке — фикус. Толстая пожилая банщица с красным лицом, усеянным множеством капель, в синем просторном халате и платке, повязанном, как у Бабы Яги, непрестанно елозит шваброй в проходах, нахально наезжая сырой тряпкой на босые ноги моющихся.

В самой бане очень весело, гул и плеск. По каменным мокрым полам бегут золотые змейки. Время от времени распахиваются двери парилки, и оттуда вместе с яростными клубами пара вырываются малинового налива люди с приставшими к спине и бокам бурыми березовыми листьями.

Мы занимаем свободную скамью — очень широкую и массивную каменную плиту на чугунных ножках. Мать, семена пингвиньей походкой, приволакивает большой овальный таз, чуть ли не до краев наполненный горячей водой.

— Залезай! — командует она мне.

И я забираюсь на скамью и опасно трогаю воду большим пальцем правой ноги, балансируя на левой.

Вода горячая.

— Давай-давай, — торопит мать, — отмачивай свою коросту.

И я медленно, сантиметр за сантиметром погружаю ногу в таз, затем вторую и еще медленнее сажусь. Тут главное — не погнать волну. Иначе так ожжет! Сижу, парюсь, рассматриваю высоченные мокрые потолки в бесчисленных клепках капель, лампы в мутных стеклянных колпаках, на четверть наполненных водой. Слушаю гулкие банные шумы и млею. Особенно зимой это хорошо, после морозной улицы. Раз, когда у нас были гости, я хватанул шампанского, пока никто не видит, и поплыл. Вот это примерно так же.

Отец обычно моет меня целиком. Я ору, а он, цепко придерживая за плечо, дерет мои спину и бока жесткой мочалкой, точно наждаком. Но самое ужасное — это намы-

ливание головы. Мыла он не жалеет. Мыльная едучая пена залезает мне в глаза, в нос, в рот, в уши. В голове моей начинают лопаться мыльные пузыри. Я уже не ору, а мычу в страшном отчаянии и слепоте, чуя свою неминуемую погибель. Отец поливает меня из ковшика, я тру глаза и прозреваю. И когда он, осматривая меня, говорит довольно: «Как заново родился», то я чувствую, что это так и есть.

С матерью я моюсь сам, она только спину трет. Но перед этим мы идем в парилку. Забираемся по деревянной лестнице под самый потолок, в самую жгучую жуть, где и дышать нельзя. Мать садится на влажный веник, а я стою возле. Сидеть на скамейке невозможно, жжется. Смотреть, как кого-нибудь хлещут веником, обмакивая его в кипяток, у меня нет сил. Злой раскаленный пар приходит в движение и так жжет, что я, закрыв глаза, чтобы не лопнули, устремляюсь вниз, скользя пятками по мокрым ступеням. И как ошпаренный вылетаю из парилки.

Мать моется долго, неторопливо, несколько раз ходит в парилку. А я стою под жидкими щекотными струйками душа, потом сижу в тазу и рассматриваю моющихся. Рассматривать мужчин я больше люблю, они как-то крепче, бодрее. Женщины вялые, рыхлые и делают все медленно и бессильно. Жутковато смотреть на то, как моются старухи, уронив в таз длиннейшие пряди волос. Так они и сидят внаклонку и, завесив лица волосами, стирают эти волосы в тазу. Постирав, как белье, скручивают, отжимают и забрасывают за спину. Но так еще страшнее, потому что открываются их груди, свисающие как две жидкие лепешки. Я на это стараюсь не смотреть, а поскорее отворачиваюсь.

В раздевалке нас охватывает бодрый холод, и мы моментально покрываемся пупыршками гусиной кожи. Мать развязывает веревочки на дверце нашего шкафа и набрасывает мне на спину махровое полотенце. Тут-то я и замечаю близняшек Наташку и Настю Гусевых из второго «А». Они уже помылись, оделись и с кружкой подходят к питьевому бачку. У обеих головы повязаны новенькими белыми платочками, из-под длинных шерстяных юбок торчат валенки с калошами. Заметив меня, они некоторое время хлопают длинными ресницами, а потом как-то неестественно улыбаются. При этом обнаруживается, что у Насти недостает переднего зуба. Я делаю вид, что не вижу их, и забираюсь поглубже в шкаф. А они, наполнив кружку и напившись по очереди, подходят к нашему шкафу и осторожно заглядывают внутрь. Я прячусь за длинное материно пальто и перестаю дышать.

— Вовка, — говорит Наташка в шкаф, — это ты?

Я не отвечаю и готов сквозь землю провалиться. Как-то мне еще не приходилось со знакомыми девчонками сталкиваться в бане, и вот на тебе!

Настя отодвигает пальто, за которым я прячусь, и они с любопытством рассматривают меня.

— Смотри, — говорит Наташка, — у него пипирка.

— Ага, — с нескрываемым удивлением соглашается Настя.

Они стоят и рассматривают меня, как чучело доисторического человека в музее краеведения.

— Вовка! — кричит мать, думая, что я куда-то улизнул.

Я молчу и не шевелюсь. Девчонки уходят, а мать, заглянув в шкаф и обнаружив меня, сердито выговаривает:

— Нашел время в прятки играть. Давай одевайся, — и кидает мне мои трусы.

Одеваюсь я в два счета, раньше матери, но из шкафа не вылезая.

С Наташкой, Настей и их бабушкой мы сталкиваемся у буфета.

Я прячусь и боком проскальзываю на улицу. Мать, ничего не замечая, заходит в буфет и берет, как всегда, два стакана сока: мне грушевый, а себе томатный.

— Вовка! — слышу я с улицы ее голос, но идти не собираюсь, хотя пить мне хочется очень и сок грушевый я люблю.

— Где ты носишься?! — ругается мать, выглянув на улицу со стаканом сока. — Иди пей давай!

— Не пойду, — говорю я угрюмо.

— Чего это? — удивляется мать, — Не хочешь?

— Там Наташка и Настя, — нехотя сообщаю я.

— И что? — не понимает мать. — При чем тут...

Она осекается и как то пристально так на меня взглядывает.

— Пей здесь тогда, — говорит примирительно, — будешь теперь с отцом ходить, раз стесняешься.

Я пью сок и прячусь за мать, потому что в этот момент Наташка с Настей выходят из бани, вытирая губы ладошками. И мне даже не интересно, какой сок они пили.

«Нет уж, — думаю про себя, — век больше не пойду в эту женскую баню».

Сволочь

Чертовы оводы беспощадно вцеплялись в мои голые, измазанные грязью ноги. Самые наглые садились даже на пузо. Тут-то их и настигала кара господня. Я терпеливо выжидал, когда эта тварь как следует вцепится в мою кожу, и с наслаждением влепывал оглушительную оплеуху. Овод, приятно хрустнув под моей ладонью и выпустив кишки, шлепался в воду.

— Падлы! — говорил я, подражая деду. Дед никогда не ругался матом. Падлами он именовал преимущественно ворон, расклевывающих зреющие яблоки, и иногда нас с Колькой.

— Обнаглели, сволочи! — подтвердил Колька.

Он стоял в пяти шагах впереди меня по колена в воде, и легкий ветерок шевелил его до рыжины выгоревшие волосы. Моя удочка была длиннее, с двумя наставышами, и я мог не забираться по колена в воду, а месить грязь у берега. Вообще-то, это была не моя удочка, а отца. И если бы он узнал, что я ее спер, то случилось бы вот что. Отец не стал бы мне ничего говорить, он никогда не ругал меня сам. Но за ужином сказал бы матери между прочим:

— Вовка опять на реку ходил и мои удочки брал.

И тут бы началось! Потому что на реку мне ходить строжайше запрещено. И я сто пятьдесят раз клялся и божился, что туда никогда и ни при каких обстоятельствах не пойду, ни с Колькой, ни даже с Серегой, хотя Серега уже совсем взрослый и учится в восьмом классе. Мать пошла бы в переднюю за ремнем, а я, уткнувшись и насупившись, сидел бы с обидой на отца и отчаянной надеждой на то, что спрятанный мною ремень не будет найден и все обойдется парой затрецин. Чаще всего гадский ремень предательски находилась. Мать хватала меня за шиворот, наклоняла и несколько раз проходила ремнем вдоль спины и по заднему месту. Орал я как резаный. Со стороны можно было подумать, что с меня сдирают кожу. Тут я хитрил и орал на всякий случай, чтобы мать не расходилась. После каждой порки я начинал новую жизнь, тихую и скромную. Но натура брала свое.

Рыба клевала вяло. Солнце нещадно било нам в макушки.

— Надо сматываться, — наконец не выдержал Колька.

— Ага, — согласился я, — только еще одну насадочку.

Я скатал червячка из подзасохшего теста, насадил на крючок и забросил удочку. Поплавок бодро чпокнул в воду, подпрыгнул и закачался. И тут же нырнул, как купальщик, которого дернули за ноги.

— Тащи! — крикнул Колька, забыв о своей удочке, кончик которой тут же макнулся в реку.

Я дернул, но леска уперлась, в воде что-то закувыркалось.

— Здоровенная! — с восторгом и ужасом закричал Колька.

Я выволок на берег огромную, небывалых размеров уклейшу. Бросил удочку и схватил рыбину обеими руками. Она накругло открывала рот и делала отчаянные попытки упруго шевелиться в моих руках.

После этого мы еще минут двадцать стояли с удочками, неотрывно следя каждый за своим поплавком. Но клева не было.

— Все! — наконец решил Колька.

Он вынул леску из воды и решительно направился к берегу. И вдруг остановился и замер, напряженно всматриваясь в то, что было у меня за спиной. Я моментально обернулся и чуть не упал. Широким полукольцом нас окружили коровы. Мне показалось, что их штук сто, не меньше. Они неподвижно стояли и молча смотрели на нас, неторопливо жуя свою жвачку, точно деревенские мальчишки, собравшиеся бить нам морды. Трава возле реки начисто вытоптана копытами, а влажная почва превращена в месиво.

— Чего это они? — спросил я Кольку шепотом.

— Хрен их знает, — так же шепотом ответил Колька, — может, мы их место заняли. Коровы пошевеливали ушами, выразительно смотрели на нас и чего-то ждали.

— Они рогачие? — тревожно спросил я.

— А то нет! Вон какие рожищи! Да тут еще, поди, и бык есть?!

И бык моментально объявился. Такой же пестрый, как коровы, но выше ростом. В широких раздутых ноздрях быка посверкивало стальное кольцо с палец толщиной. Его маленькие глазки смотрели зло, непримиримо, как у Колькиного бати во время запоя. Из того места, где у быка должен быть пупок, свешивалась из как бы разодранной шерсти длинная красная палка, почти до самой земли.

— Это чего это у него? — потрясенно прошептал Колька.

— Не знаю, — меня пробила мелкая дрожь. — Он нас теперь забодает?

— Не фиг делать!

Кольку тоже трясло. Коровы стояли полукольцом, отрезав нам путь к отступлению. Увлеченные азартом рыбной ловли, мы не заметили, как они подошли.

— М-м-м-мы-ы, — заревел бык и нагнул кудреватую деревенскую башку с короткими тупыми рогами.

— Беги! — скомандовал Колька. Он бросил удочку, попятился, а потом плюхнулся в воду и поплыл.

Я плавать не умел. Кричать, звать на помощь как-то стеснялся. Бежать было некуда, да и удочку бросить я не мог. Приготовился принять неизбежное. И вдруг — такое у меня случается в самые отчаянные минуты — холодная ярость заморозила все мое тело. Я взял удочку, банку с рыбой и пошел прямо на коров.

— А ну пошли! — закричал я, продираясь через стадо и размахивая удочкой.

Коровы лениво замычали, зачавкали копытами, обходя меня. Они потянулись к реке и, зайдя по колена, принялись пить, опустив к воде рогатые головы. Я выбрался из стада. На травке, щурясь как ни в чем не бывало лежал пастух. Из-под заломленной на ухо примятой кепки вились русые кудри. На кирзовых сапогах обсыхала желтая глина. Пастух похлопывал рукоятью кнута по голенищу сапога и откровенно улыбался мне белозубой улыбкой счастливого человека.

— Сволочь, — сказал про пастуха Колька, выбравшись из воды и выкручивая мокрые штаны. Удочка его уплыла, и рыбу он потерял, потому и злился.